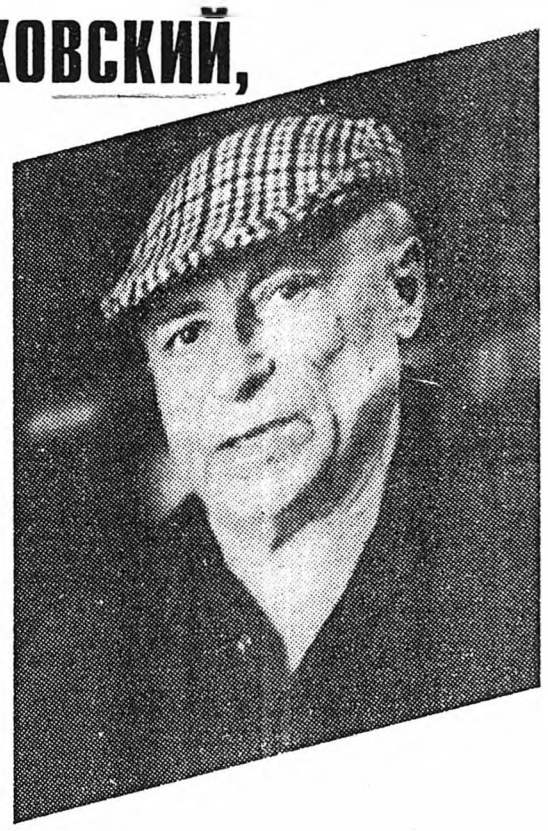
Юз АЛЕШКОВСКИЙ, ПИСАТЕЛЬ:



«ДЬЯВОЛ ЕСТЬ РАЗУМ, ЛИШИВШИЙСЯ БОГА»

— В советское время читатель был знаком лишь с отдельными фрагментами вашего творчества. Взять хотя бы известную всем песню о Сталине. Распевая:

Товарищ Сталин,
вы большой ученый —
в языкознанье
знаете вы толк,
а я простой советский
заключенный,
и мне товарищ —
серый брянский волк, —

большинство не знало имени автора. Так же безымянно гуляли по стране блистательная песня «Окурочек», ваши шутки, каламбуры... Все это как бы относилось к народному творчеству. А настоящий автор не обременял себя и ВААП защитой своих прав. Потому что творчество хотя и было не народным, но в основном устным — в официальной печати ваши произведения, за исключением книг для детей, не выходили. Уже во времена гласности были впервые изданы в России повести «Николай Николаевич», «Маскировка»... И вот, наконец, — великолепное трехтомное собрание сочинений с предисловием Иосифа Бродского, послесловием Андрея Битова и веселыми рисунками Андрея Макаревича.

А тем временем вы уже давно живете в Америке. И многие забыли, а скорее, и не знали, из-за чего, собственно, вы уехали из родной России. Вас зажимали, преследовали власти как диссидента?

— Уехал я не оттого, что меня преследовали. Я не диссидентствовал в открытую — занимался своим делом. Просто я почуял, что становится тяжко дышать от всего: от голосов дикторов, передовиц газет, трудовых вахт, соцсоревнований, «Славы КПСС», ВЦСПС и т.д., и т.п. Дело тут не в том, что альвеолы мои не принимали загазованного тогда еще не так, как сегодня, воздуха моей милой Москвы. Громко говоря, воздух советского бытия вызывал у меня тяжкое удушье. Это при том, что человек я по натуре легкомысленный, веселый и свободный. Я хорошо зарабатывал, была тачка, была квартира, любимая жена. Писал я тогда сценарии телесериалов для детей. Самый, наверное, известный фильм «Кыш и два портфеля». Выходили мои детские книжки, печатался и в периодике. Так что внешне все было о'кей — можно было гулять, работать, разъезжать по стране как члену Союза писателей, со всеми притекающими последствиями...

А кроме всего прочего, и не думаю этого скрывать, был момент чистого страха. Потому что в ящике моем лежали три романа. «Николай Николаевич» — ладно, сочинение легкомысленное. Главное — романы «Рука» и «Кенгуру». Беру только одну их примету — откровенную антисоветскость. Да, «червонец»-то за них мне точно был бы обеспечен. Один мой друг, прочитав «Руку», сказал: «Старик, я должен тебя порадовать — высшая мера наказания». В 70-х годах это была хорошая такая литературная рецензия.

— «Рука», наверное, самое серьезное ваше сочинение. После всех веселых и смешных — трагическое и даже философское. А вы пересылали свои произведения на Запад или они ходили только в «самиздате»?

— Нет, я не пересылал их за границу, чтобы издать. Хотя это, кстати, сделало бы мне там литературную карьеру и бабки. После того, что испытал в лагере, я всему предпочитал свободу.

Не выпускал свои романы и в «самиздате», не был в этом смысле тщеславен и честолюбив. Вовремя успел понять, что главное — быть писателем свободным, а не печатаемым, и поэтому счастлив был пополнять ящик сочинениями, теперь вот, слава Богу, опубликованными в России.

А тогда я давал их читать только близким друзьям, понимая, что все равно однажды меня захомутают за сочинение антисоветских произведений. И ангел мой, то есть невидимая сущность, управляющая моей судьбой, просто повелел мне: сваливай! Я покорился его велению и судьбе в 1979 году. С тех пор живу в Америке. И с первого шага на свободе, бросившись, по сути, в неизвестность, в социальную бездну, был совершенно счастлив. Потому что свобода для меня — высшее из состояний. И зависеть в этом от наших бывших ничтожных властей, от этих тупиц везде — в культуре, искусстве, литературе, на перекрестках улиц — я не хотел. Действительно, ведь всегда, несмотря на мое легкомыслие, было чувство бесконечной униженности. С какой стати, думал я. И думал не только о себе — в моих книгах было сочувствие всем, живущим здесь.

— Похоже, вам жалко было даже вождей? В «Руке» видно, что вы сочувствуете некоторым секретарям обкомов, райкомов... Можно сказать, что это образы в каком-то смысле провидческие?

— Наверное. Потому что и Горбачев, и Ельцин, и другие — оттуда...

— Ну вот, вы, как говорите, свалили. Что значила для вас эта обретенная свобода?

— Все. Я каждое утро выхожу на улицу и говорю: слава тебе, Господи. Не важно, есть бабки или нет. Я понимаю свободу как возможность подохнуть, хотя бы и с голоду, но так, как я хочу, а не по указанию партии и правительства.

— Сразу из социализма вы попали в «загнивающий» капитализм. Как там работалось?

— В Америке я успел написать восемь книг за 16 лет. Они были переведены на несколько языков, никакого коммерческого успеха не имели. Да я на это и не надеялся. Потому что там книжный рынок свой, читатель книг, приносящих доходы, тоже свой и книги соответственно такие. Почти все написанное там вошло в трехтомник.

— Как пишет Битов, Алешковский непереводим. Любой иностранец, даже знающий русский, когда читает вашу книгу, чувствует себя, наверное, как случайный гость в чужой компании — слова вроде понятны, знакомы, но почему все то смеются, то спорят? Вы пишете только на русском и только о советской жизни?

— Пока да. Когда здесь произошла замечательная эта горбачевская перестройка, к сожалению, развивавшаяся немного не так, как всем вам хотелось, я был счастлив. И подумал: елки-палки, вот мои книги, а где же, собственно, исследование себя, того, что мне кажется тайной? Где все то, чем занимаются серьезные западные писатели или мой старый друг Андрей Битов — только через себя, о себе? У меня этого нет. Не то, чтобы очень хотелось исследовать свое исчадие ада. Да мне вообще, может, о деревьях хотелось писать, а не о советской власти — в гробу я ее видал!

— Ваши произведения написаны от первого лица, и лицо это — всегда мужского рода.

— Я сейчас пишу роман, в котором героиня — женщина. И так я в нее вживаюсь, что иногда даже становится страшно.

— Как Флобер в госпожу Бовари?

— Что получится из этого, не знаю, но, во всяком случае, взялся.

— Юз, вы расстались с социализмом раньше многих — взяли и уехали от него. А когда это произошло внутренне? Уже в начале 70-х вы были антисоветским писателем, хотя писали «в стол».

— Честно говоря, в юности я, как каждый нормальный человек, начинающий интересоваться философией, увлекался сочинениями Ленина, Маркса-Энгельса, и что-то во мне там бредило по неопытности, политической, нравственной и эстетической безграмотности. Я слегка подпал под обольстительность этого учения. В нем ведь все очень логично: цели определены, задачи ясны, причины отвратительного состояния и не общества даже, а бытия, указаны. Значит, остается только мечтать или трудиться во благо будущего, где раскроются всемерно все человеческие способности и будет справедливость. Хотя на том месте, где она была, не буду говорить, что выросло.

Короче говоря, я попал в марксизм-ленинизм, но пребывал там недолго. Потому что сама действительность, тот опыт жизни, который у меня был, развеивал это начисто. И не только оттого, что я увидел в лагере и что меня вообще посадили.

А посадили меня, кстати сказать, за дело. Я был матросом, служил на флоте. Однажды мы угнали машину, чтобы доехать до станции. Потом дрались с патрулями. Мне было тогда 20 лет.

— Что же все-таки по-настоящему отвратило от социалистической идеи?

— Скорее, литература. Читать и в лагере, и в тюрьме приходилось много. Библиотеки были хорошие, а я как самый «нахаванный политикой», как там говорили, выбирал книги для камеры. А по сути, для себя: Достоевский, Толстой, Чехов. То есть реальность я воспринимал не так, как мне ее предлагали советские писатели и пропаганда. Она ведь голову-то все-таки замороч ивает. До сих пор замороченных миллионы.

— И долго вы были в заключении?

— Дали мне четыре года, но Сталин врезал дуба, и год был снят по амнистии. Это был замечательный праздник и подарок судьбы. Весной 53-го я освободился, приехал в Москву и сразу пошел в бар на Пушкинской площади...

— Вернемся к вашему тогдашнему жизненному опыту.

— Я не знаю веху повзросления, духовного мужания. Это еще и круг друзей, близких к литературе, наши разговоры, споры. Никаких прозрений не было. Должно было быть зрение, и оно появилось.

В коммунистической идеологии я почувствовал не социальную ложь (это уже следствие), а ложь бытийную, жизненную. Изуверский, жестокий обман. Причем обман не мошеннический, а дьявольский, когда в его сети попадали даже люди замечательные, искушенные. Дьявол есть разум, лишившийся Бога, потерявший душу. Вот он и плодит «великие» идеи типа коммунизма.

А действительность только подкидывала на эту правоту новые свидетельства. Я ведь, между прочим, по роду деятельности, по опыту был рабочим человеком. После лагеря лет десять работал в тресте «Мосводопровод» шофером аварийки. Сутки работал, трое — гулял. Эти три дня были и времяпрепровождением и опытом литератора. А сутки зарабатывал на кусок хлеба — копейки, кстати. Я отдавал их матери, а иногда и пропивал.

— Вы сказали, что у вас был опыт рабочего человека. А потом сразу вдруг стали профессиональным писателем?

— Вместе с тем я, наверное, и интеллигентный в меру. Всегда много читал, самообразовывался. Потому что в школе учиться не хотел от ущемления чувства свободы и в знак протеста против раздельного обучения мальчиков и девочек. Я уже тогда чувствовал тиранию этой власти, лезущей в нашу личную, интимную жизнь.

— Но школу-то вы окончили?

— Нет, ни школу, ни вуз, и нисколько об этом не печалюсь. Мы с Бродским всегда спорили, кто из нас меньше учился. Оказалось, все-таки я: пять классов проучился регулярно, потом два года сидел в шестом, убегал из дома, два года — в седьмом... Но в конце концов, проучившись в экстернате, а по сути и не учившись, попытался где-то купить аттестат и попасть в литинститут. Это были идиотские планы. К счастью, они провалились. А после лагеря я даже думать об этом не хотел. Потому что прекрасно знал, чем хочу заниматься. И нужно было только зарабатывать честно на хлеб, а не воровать, как это бывало в ранней юности во время войны.

Я стал профессиональным литератором. И до сих пор пребываю в этой социальной роли.

— То есть вы — свободный художник, не привязанный ни к какому присутственному месту, кроме собственного стола. Так? Наверное, работа требует большой самодисциплины?

— Вот уж не сказал бы. Разумеется, любой труд требует этого. Наверное, и я в момент работы дисциплинированный и собранный. Но я не из тех людей, кто не может ни дня без строчки. Это уж точно. Мне с огромным трудом дается иногда сочинительство. Да, я — вольный художник, время от времени зарабатывающий.

— Юз, вы верующий человек?

— Верующий, православный христианин. Крещен давно, кстати, отцом Менем, царство ему небесное.

— А к вере как пришли?

— Абсолютно инстинктивно, без всякого головного выбора, сердцем. Вера — такой же дар, как характер — веселый или мрачный.

— Вы сказали, что ситуация в России складывается не совсем так, как нам бы хотелось. Известно, что многих наших соотечественников, живущих сейчас на Западе, все, происходящее сегодня у нас, раздражает, они довольно зло говорят и пишут об этом. Наверное, им кажется, что оттуда они лучше видят, как надо бы сделать?

— Нет, ко мне это не относится. Вообще считаю некорректным поучать родной народ. Даже если бы я жил здесь, не делал бы этого. Роль русского литератора, который профессионально только тем и занимается, что учит жить, мне омерзительна. И между прочим, отчасти многие исторические беды России и русского народа происходили оттого, что литература была слишком уж идеологична, дидактична, учила жить. Нет, поучительство, советование — это не по мне. Впечатления — другое дело.

— Ну и каковы впечатления от сегодняшней российской действительности?

— Если говорить о сердечном, то это — недоумение и некоторый ужас. Потому что, как мне кажется, еще во времена Горбачева я заметил, что дело переходит в треп — типично интеллигентское существование нации и не жизнедеятельное, когда каждый на своем месте: крестьянин сеет, писатель пишет, негоциант торгует, директора предприятий руководят, а политики занимаются собственно телом государства, холят его, лелеют и т.д.

Не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что надо возвратить народу то, что отняли в 17-м году. Первым делом — землю и свободу. Свободу как условие любой жизнедеятельности, а землю как основу этой жизнедеятельности.

Этого не произошло. Другое дело, в силу каких причин? Наверное, несколько из них можно было бы ясно обозначить. Дело не в этом. Я думаю, что если бы компартия, виновная во всех исторических бедах России, была запрещена, то все было бы иначе. А сейчас она опять подняла голову и оказывает свое разрушительное воздействие — психологическое на умы и дестабилизирующее в общем плане.

Я считаю, что коммунисты исторически потеряли кредит доверия. Как говорит моя жена, у них осталось только одно право — работать по-коммунистически. Причем никакого возмездия, никакой дискриминации не должно быть. Я не призывал бы к братству, но — к нормальным отношениям в новой действительности.

– А когда вы в первый раз приехали из Штатов в Москву, какой вы ее увидели?

— Это было в 1988 году, тогда здесь была разруха полная. Даже плоть домов казалась мне уничтоженной. Ну, Сонька поганая, я говорил, все-таки довела, довела пространство (Сонька — так мы называли советскую власть). Единственная радость — деревья все-таки растут, птички поют. Вот кто сопротивляется коммунистической идее!

– Как вы пишете, «жизнь есть форма существования белковых тел, сопротивляющихся коммунистической идее». Тянет вас в Москву?

– Сейчас Москва изменилась потрясающе. Она меня радует. Не то чтобы меня тянуло свалить из Америки и поселиться здесь. Нет. Тем более что я люблю те края. Но иметь достаточно бабок, чтобы почаще приезжать, да еще посмотреть Россию было бы здорово. Я бы поехал на Байкал, друзья зовут в деревню под Ростов Великий, да мало ли еще куда...

Юрий ЛЕПСКИЙ,
Ольга СОЛОМОНОВА.